

ВОЗРОЖДЕНИЕ

« LA RENAISSANCE »

*Литературно-политическія
тетради*

ТЕТРАДЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ

Апрѣль 1957 года

PARIS

73, av. des Champs-Élysées, (VIII^e).

Tél.: ELYsées 06-03.

ПОСЛѢДНІЙ ТРУД И. А. БУНИНА

Мы должны быть благодарны В. Н. Бунинной опубликовавшей незаконченную рукопись И. А. Бунина "О Чеховѣ" и нѣкоторыя замѣтки и выписки сдѣланныя им в процессѣ его послѣдней работы. Каждая строка Бунина нам дорога. Творческія силы не покинули до конца величайшаго русскаго прозаика наших дней и даже начерно написанныя им страницы прекрасны. Ничего старческаго нѣтъ в этих набросках восьмидесятилѣтняго писателя. Его ум так же свѣтѣлъ как был, его фразы так же чеканны как прежде. Львиный коготь чувствуется в его критических замѣчаніях — мѣтких и немилосердных.

Тѣ немногія данныя, которыя Бунин добавляет к уже извѣстному—

драгоценны. Таковы, например, свидетельство Евгении Яковлевны и Марии Павловны Чеховых “никогда в жизни” не выдавших Антона Павловича плачущим и рассказ Марии Павловны Чеховой: “Когда мне было сделано предложение, я сказала об этом Антону. Он сдержанно поздравил меня, но по лицу я поняла, что ему тяжело... и отказала”.

Однако главный интерес Бунинского труда заключается не в этих частностях, а в более углубленном анализе чеховской психологии и в заключениях, к которым Бунин приходит на основании как личных впечатлений, так и изучения биографических и мемуарных материалов. Центральной темой тут, как во всех изследованиях о Чехове, является, конечно, вопрос о “сердце” Чехова, о его способности любить. В этом отношении, за сорок лет прошедших со времени появления первых бунинских воспоминаний о Чехове, точка зрения Бунина изменилась радикально. “А ведь до сих пор многие думают”, пишет он, “что Чехов никогда не испытал большого чувства. Так думал когда-то и я. Теперь же я твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевны Авиловой”.

Как известно отношения Чехова и Авиловой оставались до недавнего времени почти совершенно неизвестными. Воспоминания Л. А. Авиловой, посмертно опубликованные в России в 1952 году, были для всех — и для Бунина в том числе — открытием. Многие в них так мало вяжутся с установившемся представлением о чеховской холодности, что новейшие биографы Чехова отнеслись к ним с некоторой подозрительностью. С. Г. Лафитт упоминает лишь вскользь об этом “латиническом романе”. “Любил ли он ее больше других?” — спрашивает она, “В своих воспоминаниях о Чехове, Авилова это утверждает. Но трудно не считать (“On ne peut s'empêcher de penser”), что любовь занимала лишь очень мало места в жизни этого цѣломудренного, больного, и мало подчиненного инстинкту человека”^{*)}. В свою очередь, в книге Б. К. Зайцева звучат скептические ноты. “О “романе” с Авиловой”, пишет он, “судить трудно, потому что знаем мы о нем только с ее слов. Не сомневаюсь, что было довольно много дам, считавших, что Чехов к ним равнодушен, “задет”, “влюблен”, как угодно, смотря по темпераменту”^{**)}.

Недовѣрие это понятно со стороны авторов Л. А. Авилову не встречавших и не имѣвших возможности составить себе сколько-нибудь определенное представление о ее личности. Можно, впрочем, сказать, что самый факт лишь посмертного опубликования воспоминаний Авиловой, говорит в ее пользу. Будь она просто увлекающейся дамой, склонной к известной мифомании, стремящейся рисовать своей близостью к Чехову, чем объяснить ее многолѣтнее молчание? Оглядкой на мужа? Но Авилов умер в 1916 году... Оглядкой на дѣтей? Но умерла она бабушкой...

“Авилова (в дѣвичество Страхова, родная сестра толстовца)” пишет Бунин, “была как раз одна из тѣх, что так любил Чехов, употреблявший для них слово мне всегда неприятное: “роскошная жен-

^{*)} Sophie Laffitte «Tchekov par lui même», édition du Seuil, Paris 1955.

^{**)} Борис Зайцев. «Чехов. Литературная биография». Изд. им. Чехова. Нью-Йорк 1954.

щина”. Таких обычно называют “русскими красавицами”, “кровь с молоком” (выражение для меня несносное, ибо, что может быть в этой смеси — “кровь” и “молоко”?). И когда говорят так: “русская красавица” — чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, прекрасная русая коса, но все прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал ее еще в молодости (хотя уже и тогда было у нея трое дѣтей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, азиатскому)...

...“Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой была правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой”.

“Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому для меня приоткрылось”.

“Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрывала даже отрицательных замечаний, которые дѣлал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина!”

“А сколько лет она молчала. Ни одним словом не намекнула при жизни (ведь я встречался с ней) о своей любви”.

...“Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться”.

Думаю, что если бы смерть не прервала работы Бунина над Чеховым, он внес бы в свои прежние суждения о Чехове еще одну поправку. В самом дѣлѣ, если допустить, что Чехов испытал “глубокое чувство” к Авиловой, почему не допустить, что другое “глубокое чувство” он испытал и в отношении своей жены?

В своих воспоминаниях Бунин не объясняет на основании чего, он не вѣрил в любовь Чехова к О. Л. Книппер. В новой, незаконченной рукописи, он так же не говорит об этом ни слова. Мне представляется, что причина этого недоверия лежит в том же плане, что и скептицизм Б. К. Зайцева в отношении к повѣствованию Авиловой: уже очень прятал Чехов свою внутреннюю жизнь, уж очень подчеркивал он свою прозачность.

Влюбленный Чехов! Какое странное сочетание слов! Даже для его близких друзей (а Бунин был таковым, если только можно говорить о близких друзьях Чехова) это казалось просто невозможным.

Но переписка Чехова с О. Л. Книппер бросает свѣтъ на область чувств, которую он так тщательно и так успешно скрывал. Двух мѣней тут, мне кажется, быть не может Письма Чехова отнюдь не письма равнодушного человека, случайно соединившего свою судьбу с другим. Сквозь их обычную, наигранную шутливость прорывается столько нѣжности, столько заботы, столько самоотрѣченія, такая жажда духовной и физической близости, такая упорная мечта об общей жизни и даже о ребенкѣ, что сомнѣваться в чувствах Чехова не приходится. Да и чем, если не любовью можно было бы объяснить этот поздний и странный брак, заключенный вопреки здравому смыслу и который Бунин справедливо сравнивает с самоубийством? Не очевидно ли, что если бы Чеховым руководил расчет, если бы он искал жену-сидѣлку, жену-хозяйку, жену-секретаря, болѣе плохого выбора он не мог бы сдѣлать? Это предположение, к тому же, отпадает уже просто потому,

что женился на модной актрисе только театром и живущей и соглашаясь не открывать ее от сцены, Чехов, обреченный на ялтинское изгнание, знал завѣдомо, что женитьба не принесет ему никаких "удобств", облегчающих жизнь полу-инвалида. Конечно, надѣялся он на другое: он искал выхода из духовного одиночества, сознание которого мучило его уже двѣнадцать лѣтъ. И если несмотря на всю свою проницательность и на всю свою осторожность он мог так обмануться, до такой степени не понять какого рода женщины он доверялся, то не слѣдует ли искать причину этому не столько в болѣзненном оптимизмѣ чахоточного, сколько в классической слѣпотѣ любви?

Но если признать, что в жизни Чехова было двѣ настоящих любви, то как сочетать это с установившемся представлением об его холодности, об его эгоцентрической замкнутости, о равнодушии к людям?

Отрицать этих черт я не стану. Нѣтъ сомнѣнія, что было в Чеховѣ нѣчто кошачье, что его вѣжливость, что его терпѣливость, его терпимость, его вѣжливая внимательность к окружающим, скрывали значительную долю безразличія, что были они проявлением не столько душевной доброты, сколько заботы о собственном покоѣ, не столько естественной благожелательности, сколько уваженія к "культурѣ быта" — привычной повадкой человека скромного, осторожного, недоверчивого, боящагося "острых углов", ревниво оберегающаго свою внутреннюю свободу. В отношеніях с окружающими, безгласность господствовала у него над жалостью, иронія — над сочувствіем. Совершенно очевидно, что любовь к ближнему не была свойственна его природѣ, что чеховская "гуманность" была не сердечной, а мозговой...

Но было бы ошибкой подмѣнять прописной образ Чехова болѣющего "о младшем, страдающем братѣ", столь же мифическим образом Чехова нечувствительного и безстрастного, неспособнаго на сердечное движеніе и на искренній порыв. Не было в Чеховѣ ни гоголевскаго, патологическаго разобщенія с міром, ни гончаровскаго, всепоглощающаго эгоизма. Он вообще вовсе не был монолитен: противорѣчія жили в нем — не столь драматически-очевидныя, как в Толстом или в Достоевском (потому, что не было в нем ничего преизбыточнаго и крайняго) — но тѣм не менѣе вполне уловимыя. Мы никогда ничего не поймем в Чеховѣ, если с этими противорѣчіями не будем считаться, если их сложную діалектику не попытаемся вскрыть. Он принадлежал к породѣ тонкокожих, людей *болѣзненно ощущающих всякое грубое прикосновеніе*, слабо-нервных, застѣнчивых и самолюбивых, не по обычному остро переживающих всякую нравственную боль и потому поглощенных самих собою. Может быть, родился он в другой средѣ, будь его дѣтство — счастливым дѣтством, отчужденность от людей не развилась бы в нем, и его природный субъективизм не приняла бы преувеличенных размѣров. Но, выражаясь цвѣтисто, был он голубем рожденным в вороньем гнѣздѣ, и жизнь, с первых же его шагов, была к нему немилостива. В таких условіях, выжить он мог лишь сосредоточившись на борьбѣ за существованіе и окружив себя невидимой броней. Когда игра была выиграна — было уже поздно: равнодушіе к людям стало органической чертой, броня уже приросла к тѣлу. Сознание своей обособленности, своей неспособности "жить как

все", воплотить свой идеал полноценнаго человека, стало драмой зрѣлаго Чехова и источником его душевнаго мрака.

Что это было именно так — доказывается, как характером кризиса, пережитаго Чеховым на тридцатом году его жизни, так и всѣм его послѣдующим творчеством. Мір, раскрывающійся нам в его зрѣлых произведеніях не фантастическій гоголевско-сологубовскій мір, а мір лирическаго поэта обращеннаго к реальной жизни. Только лирика Чехова не была пушкински-эклектической, "на все дающей отвѣтъ", потому что сосредоточенный на себѣ он мог звучать лишь на то, что касалось его лично, изображать (хотя бы путем сложных "транспозицій") лишь то, чѣм терзалась его душа, объективировать лишь свои собственные проблемы. От "Скучной исторіи" до "Вишневаго сада" основная ея тема в сущности одна: тема человеческого одиночества, тема діалога глухих, тема непонятнаго или нераздѣльнаго страданія.

Но Чехов не был невротом и "человѣк в футлярѣ" лишь чудовищная карикатура одной из граней чеховской души. Пусть чувство "соборности" было в нем почти атрофировано — выводить из этого неспособность Чехова не только к любви альтруистической, но и к иной, болѣе субъективной формѣ любви, было бы ничѣм неоправданным упрощеніем. Если таков был діагноз поставленный самим Чеховым в роковое лѣто 1889 года, когда его "холодность" открылась ему впервые, он, конечно, заблуждался. Не безчувственным было его сердце, а трудно воспламеняемым, разборчивым, требовательным и этим вызывалось то долготѣнее сердечное молчаніе, которое он принял, было, за непоправимый внутренний изъян. Мы знаем: таким людям как он, полюбить нелегко, найти счастье в любви еще много труда. Тут нужна уж особо счастливая звѣзда, но Чехов не был "везучь" и если то, что казалось ему невозможным, стало возможным и его сердце дважды загорѣлось, то желанное "раздѣленіе участи" все-таки обернулось оба раза мечтой.

Эволюція темы одиночества в чеховском творествѣ отражает этот двойной опыт. Если не считать "Тоски" предвосхищающей поздняго Чехова, затерянной среди юмористики и на много предшествующей чеховской зрѣлости — одиночество трактуется им по началу как слѣдствіе душевной ущербленности, как расплата за душевную сухость, как возмездіе за себялюбивую косность. Но с годами освѣщеніе мѣняется. Вопрос вины — вольной или невольной — уже не встает, моралистическій подход исчезает. Удареніе ставится на фатум, на роковое стеченіе обстоятельств, на жестокую иронию судьбы, на коренное неблагополучіе міра. Вывод ясен: полюби Чехов раньше, не написал бы он вѣроятно, ни "Скучной исторіи", ни "Палаты номер шесть", будь Авилова свободна, будь О. Л. Книппер не тѣм, чѣм она была — не было бы в нашей литературѣ ни "О любви", ни "Дамы с собачкой", ни "Архирея".

С этой точки зрѣнія всю чеховскую біографію, всю исторію чеховскаго творчества надо заново пересмотрѣть. Слѣд Авиловой и Книппер окажется глубже чѣм мы предполагали. Бросая свѣтъ на один из центральных моментов чеховской жизни, незаконченная работа Бунина открывает "чеховѣдам" новые пути. В этом ее, еще недостаточно оцѣненная заслуга.

Кирилл Вильчковскій.